

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первое мое воспоминание — о бабушке. Помню ее запах. Аромат жасмина и более приземленные нотки масла для пропитки кож, которым она обрабатывала будущие домашние туфли соседок по лестничной площадке. И дыхание у бабушки было такое же: теплое и сладкое, с легчайшей кислинкой прикасалось оно к моей щеке. Но лучше всего я помню ее руки. Пальцы — заскорузлые, но проворные, с прежней ловкостью бегающие по коже туфель, которые она мастерила, ловко кидающие рис в кипящую воду, так, чтобы не обжечься горячим паром.

Помню еще — мне, видимо, было всего два-три года, — как меня зачаровывали раздутые багровые и зеленые вены, виноградными лозами змеившиеся по тыльной стороне ее крапчатых узловатых ладоней. Ее руки были совсем не похожи на мои. Случалось, что бабушка брала мою ладошку — легкую, гладкую — и заключала в свои, и это было изумительно. Но отчетливее прочего я ощущала — особенно на запястье — тепло, исходившее от ее плотной кожи. И чувствовала, что мне хорошо, безопасно.

Морщины, бороздившие бабулин лоб, брыли, свисавшие со щек, — меня они никогда не смущали, хотя детям и случается бояться старости. Для меня бабушкино лицо,

тело, все ее существо были старинной картой, одновременно и знакомой, и загадочной — такую хочется читать раз за разом не только глазами, но и пальцами. Я действительно часто тянулась к ее лицу, водила пальчиками по тонким седым бровям, играла с жесткими волосками, росшими на подбородке, — по неведомой причине они меня просто завораживали. Иногда я начинала за них тянуть, и тогда бабушка чихала. Меня это приводило в несказанный восторг, я принималась хихикать, весело и неостановимо, как все малыши. Бабушка смотрела на мои содрогания — сама сдержанная, серьезная, — и только легкий изгиб губ и искорки в серо-голубых глазах намекали на зарождение улыбки.

Родители мои были иного толка. Они меня обожали, как в китайских семьях 1970-х годов принято было обожать дочерей: обожание смешивалось с легким неудовольствием (брат мой тогда еще не пришел в этот мир). Но главное, по всей видимости, было в том, что мы были совершенно несовместимы. Папа был человеком добрым — и высококонравственным. Однако все мое детство он оставался на расстоянии, хотя виделись мы ежедневно: утром, когда я просыпалась к завтраку, и вечером, когда он возвращался с работы.

Мне случалось бродить по коридору нашей маленькой шумной квартирке: полностью уйдя в свои мысли, я разговаривала с выдуманными друзьями, билась с выдуманными врагами — и вдруг рывком возвращалась в реальность, когда сталкивалась с ним. С отцом. Сейчас я понимаю, что для мужчины он был совсем небольшого роста, худощавый, компактный, однако ведь маленький ребенок живет

в стране великанов. Причем самые рослые среди них — отцы. В моих глазах отец был огромным, и это, видимо, отражало масштаб его строгости: встретив меня в прихожей, он всегда моргал, глядя на меня сверху вниз, и хмурился, как будто столкнулся с какой-то незнакомой карлицей, а не с плотью от плоти своей.

Папа вглядывался в меня, щурился, словно не до конца сознавая, кто перед ним; потом, когда молчание слишком уж разрасталось, он выдавливал из себя короткий, скомканный вопрос:

— Ты... ты... уроки выучила? Дела по хозяйству сделала?

Мне, пятилетней, еще, по сути, не задавали никаких уроков, однако я начинала отчаянно кивать, потому что была уверена: если я с ним не соглашусь, меня запросто могут нынче же вечером выгнать из квартиры. Кстати, родители никогда не говорили мне ничего, что хотя бы отдаленно намекало на возможность изгнания из родного дома за то, что я не выучила несуществующие уроки, которые папа считал таким важным делом. Но я почему-то вбила себе в голову, что вот возьмут и выгонят. Это был один из моих многочисленных страхов.

Оглядываясь вспять, я понимаю, что наших встреч папа боялся не меньше, чем я. И потому выпаливал первое, что приходило ему в голову. Был он ученым, картографом — работал с геологическими картами. Довольно непримечательное занятие, как раз для такого дотошного и безобидного человека. Тем не менее и он, и ему подобные подверглись преследованиям в годы «культурной революции» Мао. Очень многие преподаватели, технические специалисты и люди умственного труда были объявлены «буржуазными

элементами», и, как мне кажется, страх и неуверенность, которые папа унаследовал с тех времен, остались с ним навсегда. Они проникли во все сферы его жизни. Даже в отношения с дочерью.

Я выросла уже после маоистской эпохи — после смерти Великого кормчего, — так что для меня эти страхи не были реальностью, по крайней мере следующие лет пятнадцать, до новых событий. Но папа мой так и не сумел выйти из круга страха, из его тени.

Возможно, именно этот страх он и пытался смягчить, сделавшись почти незримым, укрывшись в невнятно-абстрактном мире схем и координат, из которых и состояли его исследования. Спрятавшись в месте, куда не долетала неопрятная суeta семейной жизни: грязные пеленки, игрушки, разбросанные по ковру; громогласный рев обиженного карапуза; гладкость личиков, обращенных вверх, с любопытством или возмущением, в потоках соплей и слез.

Мама со своими страхами справлялась иначе. Она отличалась деловитостью и жестко контролировала все стороны и подробности жизни своей семьи. Следила, чтобы ровно в шесть вечера мы все сидели за столом, расстелив салфетки на коленях. Во время еды сообщала нам новости про соседей с нашей лестничной площадки: про их достижения, про скандалы за закрытыми дверьми. В основном про скандалы. Мама была человеком феерически энергичным: подобно цунами, она могла снести и перевернуть любую постройку, встретившуюся на ее пути. Местные сплетни служили ей импульсом засучить рукава, убедиться, что нас всех накормили и напоили, что мы одеты, а наши жизненные пути расчищены. Впрочем, все это я осознала только

гораздо позднее. Тогда мама казалась мне просто противной командиршей.

В самом конце «культурной революции» отца моего разжаловали, однако он смог выжить. Немного посидел в тюрьме, потом вернулся на штатную должность. Полагаю, ему просто повезло. Мне и по сей день неизвестно, какие унижения — а то и что похуже — ему пришлось перенести. У него никогда и мысли не было поделиться этими воспоминаниями с родней, особенно с родственницами. Мама, однако, была убеждена, что причина его горестей — причина всех наших горестей — кроется в случайной ошибке в остальном безупречной бюрократической машины. Для мамы государство было строгим, но справедливым, неизменно использующим свою власть и авторитет на благо народа. В детстве я вслед за мамой считала, что нет на свете правительства лучше китайского, что оно во всех отношениях опережает империалистические правительства западных стран, которые пытаются ему противодействовать. Из каждой радиопередачи следовало, что мы, китайский народ, — знаменосцы человечества, вступающего в эпоху свободного и гуманного бесклассового общества. Мы, дети, впитывали все это с самого раннего возраста — так же как американские дети каждое утро вставали в школе по стойке смирно, чтобы принести клятву верности своему флагу.

Но опять же: оглядываясь назад, я все гадаю, насколько доверчивость и энтузиазм, с которыми мама относилась к властям предрежащим, давили на моего измученного отца, человека, полностью выжатого жизнью и государством, которому он пытался служить. Полагаю, что неуклонное стремление мамы к сохранению статус-кво отца

коробило. Возможно, ему даже случалось протестовать. Изредка у него прорывались искры тех чувств, которые он всю жизнь учился подавлять. При этом отец никогда не был с мамой груб.

Бывало, что в семьях, живших на нашем этаже, мужа поколачивали жен. Иногда до нас долетали их ссоры, случалось даже слышать внезапную мертвую тишину перед тем, как ладонь влетала женщине в щеку, а после этого визг на высокой ноте. Но даже побитые жены из нашего коридора хранили чувство собственного достоинства — знали, что есть такие вещи, о которых уважающие себя люди не говорят и в которых не признаются соседям.

В подобных случаях весь этаж начинал разыгрывать одну и ту же причудливо-сюрреалистическую сценку: что все в порядке, что двери иногда напрыгивают, подобно чудищу из древнего китайского свитка, на ничего не подозревающую женщину, чтобы стукнуть ее, пока она хлопчет по хозяйству. Углы буфетов, края кроватей — все они одинаково опасны и одинаково непредсказуемы. А вот мужчины, с которыми эти женщины решили соединить свою судьбу, ни в чем не повинны.

Ребенок осознаёт и постигает такие вещи, но не претворяет их в форму осознанных представлений. Я понимала, что жен иногда бьют, что это нехорошо. Знала, что взрослые не одобряют подобного поведения, но вслух об этом не говорят. Оно, однако, случается. Помню, что даже в детстве я ощущала, что и яркое свечение моей мамы успели слегка притушить, что ее навязчивая потребность регулировать все мелочи нашей жизни упертыми представлениями об этикете и достоинстве мгновенно сойдет на нет, если отец хотя бы

раз ударит ее по лицу. Если хотя бы раз прервет ее бесконечный поток смачных сплетен и назойливых требований.

Но он, слава богу, никогда этого не делал. Впрочем, то, что от него оставалось, было во многом хуже: серая оболочка человека, который даже мне казался старым, хотя на самом деле ему было лишь немного за тридцать. Человек, из которого вытрясли всю начинку. Или, может, он просто научился ускользать. Отсутствовать в окружающем мире. Чувствовать себя по-настоящему дома только в своем одионом кабинете, за размышлениями над схемами и отчетами. Я и по сей день не знаю, что с ним произошло тогда, до смерти Мао. Его задержали. Означало ли это избиения? пытки? Мне ясно одно: полноту личности у него отобрали. Даже теперь, столько лет спустя, когда его нет рядом, я испытываю к нему огромную жалость.

Но если отец мой оставался пассивным свидетелем искрометного жизнелюбия моей мамы, то бабушка была совсем не похожа на них обоих. Она сильно отличалась от рожденной ею дочери. Я подмечала, что если мама стремится к добропорядочности, то бабушка — бунтарка по натуре.

Родилась она в 1921 году. Рождение ее пришлось на период модернизации, последовавший за отречением последнего китайского императора, однако бабушка жила в сельской местности, которую прошлое продолжало сжимать в странном призрачном кулаке. Ее родители придерживались жизненного уклада, который унаследовали от предков, — пальчики на ногах маленькой дочери они сломали и согнули, подвергнув ее так называемому бинтованию ножек, — но бабушка взбунтовалась, кричала каждую ночь, сопротивлялась, и в результате родители ее не выдержали.

А когда ей удалось полностью стянуть с ног ненавистные бинты, они просто сделали вид, что ничего не заметили.

В результате ступни у бабушки были просто удивительные. Больше идеальных «забинтованных» ног, но меньше тех, какими должны были вырасти в нормальном случае. Найти подходящую обувь ей было почти невозможно. Именно поэтому бабушка в конце концов стала делать обувь сама. Тогда она еще не знала, что существовало целое поколение девушек, которые отказались бинтовать ноги, проявив ту же отвагу и решимость. Выросло целое поколение девушек, ноги у которых были слишком большими для «забинтованных» и слишком маленькими для «нормальных».

Со временем бабуля приноровилась шить обувь для женщин, у которых, как это называлось, были «ноги освобождения» — такие же, как у нее, которые пытались, но не смогли забинтовать. Бабушка моя владела, по сути, самым традиционным женским навыком: орудовать иглой со вдетой в нее ниткой, чтобы создавать носильные вещи, — но у нее этот навык стал формой женского бунтарства. Вся жизнь ее была напичкана и более мелкими бунтами, которые часто принимали куда более грубую и невоспитанную форму. Взрыв задорного смеха, скабрезное подмигивание и даже громогласное...

ГР-Р-Р-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!

Я как раз волоку ко рту жареный рис с яйцом, вскинув палочки в воздух, но бабушка рыгает так громко, так решительно, что на несколько секунд мы все пятеро замираем вокруг стола. На лице у отца выражение, которого я никогда раньше не видела: рот приоткрылся, папа то ли озадачен, то ли возмущен. Мама — которая до того яростно осуждала соседскую дочку, повадившуюся ходить в сандалиях

без носков (по маминым понятиям, верный признак детской испорченности) — так поражена этим рыганием, что на миг теряет дар речи, быстро моргает, пытается смириться с фактом столь непредвиденного и непотребного поступка.

Мой брат Цяо — ему тогда еще не исполнилось и двух лет — тоже прекратил старательно и сочно жевать, из уголка рта у него потекла струйка. На лице засияла улыбка, какая появляется у карапуза, сообразившего, что в мире его что-то внезапно переменялось — он пока не уверен, что именно, но страшно радуется перемене. И последней — но при этом главной — оставалась фигура бабушки: ее крупное приземистое тело и круглое лицо расслабились, в морщинках обозначилось зарождение улыбки, она крупной жабой откинулась на спинку стула. И смотрела на маму с искорками в глазах.

Мама побагровела. Она прекрасно справлялась со всем, что было связано с распорядком жизни, детской одеждой, подбором слов, которые в семье разрешалось употреблять, а вот с отражением чувств на собственном лице куда хуже: оно плыло, на нем внезапно проявлялись самые сокровенные переживания. Она моргнула, глядя на бабушку, пыталась подавить взрыв негодования. И наконец ошарашенно выдавила несколько слогов:

— Ты это специально, муцинь*, я знаю!

Бабушка в ответ посмотрела на нее невозмутимо, как сфинкс, — хотя во взгляде и сквозило откровенное озорство.

— Милочка, радость моя, доживешь до моих лет, поймешь, что тело — оно как автомобиль: с годами портится, и порой глушитель барахлит!

* мать (кит.). — Здесь и далее прим. пер.

Бабушка взмахнула ресницами, и на лице ее появилось выражение оскорбленного достоинства.

— Да ладно, — отрубила мама. — Твой «глушитель» вечно барахлит именно тогда, когда я говорю важные вещи, когда я пытаюсь...

— Гр-р-р-ы-ы-ы!

И снова всех охватил временный паралич. Всех, кроме братишки, который как раз тоже рыгнул и теперь зловредно ухмылялся, с улыбающегося детского личика все еще текла грязная слюна, а сам он был доволен как слон, что сумел подхватить бабулину шутку.

Мама взглянула на братика с неподдельным ужасом, а потом повернулась к бабушке — багрянец мгновенно сбежал с лица, уступив место творожной бледности потрясения.

— Видела, что ты творишь? Ты... портишь мне ребенка!

С бабушкиного лица впервые сбежал всякий намек на озорство.

— Ну, не преувеличивай. Ему и двух лет еще не исполнилось. Вот обезьянка и обезьянничает!

— Обезьянка... обезьянничает? — задохнулась мама. — Да как... как ты смеешь! Я считаю, что нравственное развитие моих детей... не тема для шуток!

К этому времени она уже встала в полный рост и возвышалась над остальными, жестами обращаясь к незримой для нас аудитории.

А потом вдруг вперила взгляд в папу.

— А ты! Ты! Почему ты меня не защищаешь?

Папа от изумления вернулся в действительность. Не знаю, какие там мысли бродили у него в голове, отгораживая

от всех этих вспышек семейных скандалов, но они разом улетели прочь под пристальным и угрожающим маминым взглядом. Бедолага попытался взять себя в руки, придумать хоть какой-то ответ — я видела, как он старается, — но не успел произнести ни слова, потому что мама обессиленно ахнула и выплыла из комнаты.

Ернический бабушкин взгляд переметнулся на озадаченного папу.

— Что-то она сегодня не в настроении. Может, тебе следует почаще исполнять супружеские обязанности?

Да, внезапная мамина выходка выбила папу из колеи, но это было ничто в сравнении с тем ужасом, который отразился у него на лице, когда бабуля высказала это свое дельное предложение.

Стараясь сохранить достоинство, он встал из-за стола и следом за мамой покинул комнату.

Братишка сидел на детском стульчике, и тут на его гладком пухлом личике впервые мелькнула тень тревоги, большие темные глаза расширились от неподдельного горя — он осознал, что все переменялось, хотя и не понял, как и почему. Понял лишь, что несколько секунд назад вокруг были люди, а теперь они исчезли — и его, видимо, захлестнуло невыносимое одиночество, которое накатывает внезапно и доводит до полного самозабвения, особенно если ты еще маленький. Через мгновение лицо его уже блестело от теплых слезинок.

Братишка часто меня раздражал. Он бывал громогласным, требовательным. В его присутствии все разговоры относились только к нему, одной лишь силой притяжения своих нужд он затягивал всех окружающих в свою

орбиту. Раздражение порой затмевало в моих глазах его беспомощность. Но в тот миг его уязвимость я ощутила как свою, его одиночество и горе будто бы стали моими собственными чувствами. Я на несколько секунд переселилась внутрь его головы, мигала, глядя на тех, кто жил в одном со мной мире, колеблясь между озадаченностью и страхом. Я встала, очень осторожно вытащила брата из стульчика. Он уже ревел во весь голос, полностью отдавшись вихрю чувств, который взметнулся внутри. Я заворковала ему в ушко — не раз видела, как это делает мама. Подняла повыше, прижалась губами к мягкому животу — я так поступала иногда, чтобы он поежился и захихикал, — но все мои усилия разбивались о его смятение.

Бабушка жестикулировала, сидя в кресле. Я без единого слова передала ей Цяо. Он все ревел, но, когда бабуля прижала его к своей большой груди, он сразу зарылся в ее грузность, неподвижность, теплоту. Его пухлое тельце еще сотрясалось от рыданий, но он уже начал обмякать, уткнулся в нее, прилачился к мягким складкам, а она принялась покачивать его вверх-вниз — крошечное суденышко, объятное ритмичным коконом волн. Братик инстинктивно засунул в рот пальчик. Через несколько секунд я услышала тихое посапывание — большие закрытые глаза, как гладкие мраморные шарики, наружу торчит крошечный носик. Все переживания позади.

И тут же в чувства мои вкралось куда менее добродетельное побуждение. Мама редко разрешала мне пойти поиграть с соседскими детьми, а вот бабушка не проявляла такой строгости, и в отсутствие мамы я легко добивалась своего.

— По-по!* Можно я пойду немножко поиграю на улице?

Бабушка даже не глянула на меня, только слегка кивнула крупной черепашной головой. Она все качала на руках братишку. По телу моему пробежала дрожь беззаконного восторга, я тихонько открыла входную дверь, выскользнула на площадку. Меня обдало жаром. Стояло лето, а до повсеместного появления кондиционеров было еще далеко. Балконные двери были открыты настежь, да и двери в квартиры тоже — циркуляция воздуха помогала справиться с липучей жарой в перенаселенных помещениях, особенно ранним вечером, когда кипели кастрюли и шипели сковородки. Так что на нашем этаже была такая коммунальная обстановка: двери открыты, стены тонкие — всегда можно попробовать чужую жизнь на ощупь, и в результате, с одной стороны, возникала некая общность, а с другой — конца не было сплетням и зависти.

Мама моя никогда не скупилась ни на первое, ни на второе. Одна из наших ближайших соседок — я ее называла тетей Чжао, хотя она и не была моей кровной тетей, — приехала из деревни, у нее был непонятный выговор, порой я с трудом ее понимала. Она, однако, вышла замуж за пекинца — более того, за директора фабрики — и пользовалась привилегиями, нашей семье недоступными. Например, у тети Чжао у первой на нашей площадке появилась морозильная камера. Никогда не забуду тот день, когда ее привезли. Она оказалась почти в два раза выше грузчиков, они с трудом заволокли ее по лестнице и в коридор — а все соседи стояли и благоговейно взирали на это действо.

* Бабушка! (кит.)

Помню выражение маминого лица, когда она выглянула в щелку нашей двери: как опустились вниз кончики поджатых от обиды губ, как в глазах заплескался тусклый гнев. Тетя Чжао была одной из самых близких маминых подруг; я ее помнила столько же, сколько и себя, знала, что маме она очень нравится. От маминой реакции у меня сжалось горло. Я почувствовала ту же неловкость, которую чувствовала, когда в школе меня заставляли расшифровать букву или знак, смысл которых находился за пределами моего понимания. Я увидела, как на короткий миг мамино лицо вытянулось, исказилось, а потом она захлопнула дверь и вернулась к домашним делам. Но я эту историю так и не забыла.

И вот сейчас, среди всех этих ароматов жареной курицы, рыбы, арахисового соуса и морского огурца, поверх которых витают нотки крахмала от сушащегося белья и терпкий запах разгоряченных тел, я бросаю быстрый взгляд в квартиру тети Чжао. Вижу стол на кухне, сидящие за ним фигуры; широкая дверца морозилки распахнута, всех заливает прохладный голубой свет — но я не останавливаюсь. Только ускоряю шаг — детям не разрешается бегать по коридорам, — но меня буквально переполняет возбуждение, я выскакиваю на лестничную клетку, сбегая по ступеням, толкаю дверь, оказываюсь на улице. Снаружи даже и в этот час душно и жарко; я чувствую, как зной поскрипывает в пояснице, как на затылке скапливаются от влажности бусинки пота, но я на улице — и вроде бы снова могу дышать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ищу их взглядом. И нахожу почти сразу. Они собрались на пустыре рядом с главной улицей, солнце заходит, в длинных полосах вечернего света пляшут пылинки, поднявшиеся с иссохшей земли, в воздухе будто повисают блестящие золотые ленты. Сквозь эту золотистую дымку мне видно далеко. Вижу формы и очертания зданий в центре города, а у самой кромки горизонта, в стороне Запретного города, обозначаются контуры башен, охраняющих вход на площадь Тяньаньмэнь. Туда, по моим понятиям, так же далеко, как и до какой-нибудь далекой загадочной страны, и образ площади — размытый, тающий — мерцает передо мной лишь миг, а потом исчезает в толще набежавшего облака. Я тут же возвращаюсь мыслями в свой квартал, заставляю себя сосредоточиться, потому что подхожу к группе детей, меняю походку на раскованную, гоню с лица всякое выражение. Приближаюсь с тщательно отрепетированным безразличием.

— Привет, чем занимаетесь?

Чем они занимаются и так ясно: Цзянь, мальчишка с тонкими чертами лица и большими глазами, проводит языком по краешку хрусткой бумажки. Остальные смотрят на него с орлиной зоркостью, потому что из его проворных рук всегда выходят самые красивые и летучие самолетики,

и всем хочется узнать его секрет. Я прекрасно понимаю, чем они занимаются, но не могу не задать этого вопроса, потому что так положено.

Чжен неотрывно смотрит на лист бумаги, который свертывает Цзянь, и отвечает мне добродушным бормотанием — как будто они придумали уникальный способ скоротать время.

— Мы делаем бумажные самолетики!

Я киваю, собираюсь еще что-то сказать, умолкаю. Поигрываю пальцами. Вижу, что А-Лам за мной наблюдает. Я перехватываю ее взгляд, она смущенно отводит глаза в сторону. Мы в одной компании, но редко разговариваем друг с другом. Может, дело в том, что мы здесь две единственные девочки. Мы понимаем, что отличаемся от остальных и если начнем тесно общаться, то только подчеркнем свое отличие. Или даже не знаю. Как бы то ни было, друг к другу мы относимся настороженно.

Цзянь доделал самолетик. Быстрым движением запястья он отправляет его вверх по дуге. Мы следим за полетом, вскинув головы в полновесный вечерний свет, пока самолетик не превращается в черный контур. Он поднимается в верхнюю точку, а потом — почти как живой — несется вниз и по головокружительной петле опускается на землю в нескольких метрах от нас. Мы все разом срываемся с места.

Чжен аккуратно подбирает сплюсненную поделку.

— Неплохо, — объявляет он, рассматривая игрушку; четкие крупные черты его лица освещает приятная открытая улыбка.

В принципе, лидера в нашей компании не было, но, мне кажется, Чжен мог бы им стать. Он был хорош собой, с густыми черными волосами, торчащими надо лбом; с мягким,

но сильным голосом; спортивный, бегал быстрее всех нас. А еще он был всех выше. В детстве рост имеет важное значение.

— Давайте поиграем в другую игру!

Цзинь смотрит на нас со странной улыбкой. Он гораздо ниже Чжена, лишь чуть-чуть выше меня. Но у нас в компании у каждого есть особое свойство. Чжен сильный. А-Лам рассудительная. Цзянь лучше всех делает бумажные самолетики. Цзинь... он умный. Тут мне приходит в голову, что я, пожалуй, единственная вообще без особых свойств. Может, именно поэтому меня очень редко замечают. Учителя в школе меня будто не видят, а с тех пор, как родился Цяо, родители уделяют мне гораздо меньше внимания, чем раньше (ну разве что мама иногда говорит, что я снова испортила платье, потому что каталась в грязи — что, разумеется, чрезвычайно «невоспитанно»). Бабуля меня, понятное дело, видит. От ее взгляда не укроется ни один укромный уголок ни в твоём теле, ни в голове. Но это не совсем то же самое. Тем не менее знаю: когда я выхожу из дома и отправляюсь играть с друзьями, они — пусть во мне нет совсем ничего особенного — принимают меня в свою компанию без всякого ропота. Можно подумать, что все мы — фрагменты головоломки, которая для того и придумана, чтобы ее сложить.

Но Цзинь — отдельная история. Да, он мал ростом, однако все прислушиваются к его словам. В нем чувствуется уверенность — говорит он негромко, но всегда о вещах, которые нам незнакомы. Вот почему он и кажется умным. Есть в нем что-то такое, что делает его взрослее других, даже взрослее Чжена, хотя Чжен из нас самый рослый и самый

старший. А еще Цзинь никогда ни с кем не спорит, в отличие от остальных.

Однажды Фань — а он толстый и вонючий — заявил, что я вечно чешу в попе! А сказал он это только потому, что все знают: он сам вечно чешет в попе, — и, говоря, он хихикал и пускал слюни, как будто это ужасно смешно. Я почувствовала, как краснею, хотя с чего бы, ведь я никогда не чесала в попе. Но Фань выкрикнул это с таким упоением, что, пусть я никогда ничего такого не делала, щеки у меня вспыхнули и на глаза навернулись слезы. Нет, я не расстроилась. Я рассердилась. А всем, видимо, показалось, что мне стыдно, потому что Фань сказал правду.

И я взорвалась.

— Ты, недоумок безмозглый!

Я изо всех сил врезала Фаню по руке. Тут и у него на глаза навернулись слезы, а потом он заверещал. Мы смотрели, как он припустил к дому со всех своих толстых ног.

— Ты поступила некрасиво, — заметил Чжен, глядя на меня с расстроенным видом.

Говорил он мягко, смотрел ласково и при этом будто хлестнул меня по лицу наотмашь. Я вдруг возмутилась, запаниковала.

— Он врет. Ван Фань врет. Он сказал, что я чешу в попе, но я никогда этого не делаю!

Я внимательно посмотрела по сторонам. Взглянула на Циня, потому что все же знают, что он умный, рассудительный — а мне очень хотелось услышать голос разума.

— Цзинь, я этого не делала!

Он несколько секунд смотрел себе под ноги, потом поднял голову, устремил на меня взгляд карих глаз.

— Да, знаю, но суть не в этом.

— А в чем? В чем суть?

Этот вопрос я едва ли не выкрикнула, но они уже вернулись к своим делам. Никто меня не гнал, я ушла сама. На следующий день вернулась. Ван Фань был там — капал слюной и хихикал, играя с остальными. Я присоединилась к игре — как будто ничего и не произошло. Но в тот момент я поняла, что значат слова Цзиня: «Да, знаю, но суть не в этом». В школе Ван Фаня называли «умственно отсталым». Всё потому, что, когда в обеденный перерыв он ел, почти вся его еда вываливалась на рубашку, а еще он иногда начинал хихикать без всякой причины.

Но суть была не в этом. Как меня приняли в компанию, хотя я и не обладала никакими выдающимися свойствами, так приняли и Ван Фаня, потому что однажды он пришел к нам и захотел поиграть. Для нас, детей, в то время не было ничего ценнее совместной игры, пусть среди нас и были недоумки, не такие, как все, косоглазые или с толстым животом. Вот в чем была суть.

— Давайте поиграем в другую игру! — предложил Цзинь.

Его, как всегда, послушались. Мы с Цзином учились в одной школе, но в разных классах. Тем не менее я однажды видела, как он выходил на сцену получать награду за достижения в каллиграфии. А еще я знала, что отец его важная птица, хотя как мы это выяснили, неизвестно, потому что Цзинь редко упоминал своих родителей.

— В какую? — серьезно осведомился Чжен.

— В кошки-мышки! — тут же ответил Цзинь.

Чжен кивнул, соглашаясь.

— Хорошо, — сказал он. — Начинаем.

И посмотрел на меня.

— Мышка! — выкрикнул он.

Я невольно захихикала, все на меня смотрели, но я очень обрадовалась, что Чжен меня выбрал.

А потом кровь у меня застыла.

— Ван Фань — кот!

И тут же все принялись декламировать хором:

— Который час?

— Скоро шесть.

— Котик наш дома?

— Пора ему есть!

Игра состояла в том, что после этого стишка кот должен был ловить мышку, но, к сожалению, Ван Фань это недопонял и ринулся на меня прежде, чем все замолчали. Я почувствовала, что падаю — будто в замедленной съемке, а потом время понеслось вскачь, и вот я уже лежала на грязном полу, оглушенная, каскад звуков рушился внутрь меня, а в ухо жарко, возбужденно и шершаво дышал Ван Фань. Я почувствовала на щеке теплую струйку.

Подняла глаза на нависшее надо мной пухлое ослабившееся лицо, и меня вдруг будто током пронзила ярость; захотелось выцарапать Фаню глаза, раскровенить мокрые шепелявые губы. Он был маленьким, в определенном смысле самым маленьким из всех нас, и тем не менее ощущение его тела поверх моего было невыносимым: я чувствовала жар, исходящий из дряблых складок кожи на лице и животе. Ощущала кисловатый запах, поднимавшийся из впадин его тела — подмышек, дебелых ляжек.

Он все хихикал, сотрясаясь всей тушей, но на сей раз я не стала орать и обзывать его недоумком, не стала

плевать (а это худшее, чем один ребенок может обидеть другого). Вместо этого я проглотила отвращение, сгруппировалась и ловким движением сдвинула его дряблое тело на сторону — он завалился на бок, а я высвободилась.

С трудом встала на ноги. Посмотрела на остальных. Они все смеялись. В первый момент я опешила. В ноздрах все еще ощущался запах Ван Фаня. А он катался по земле, хихикая, как будто над какой-то ужасно смешной шуткой, как будто его щекотал кто-то невидимый. Я почувствовала, что все на меня смотрят. А потом ощутила собственный смех. Натужный. Станный. Звук, зарождавшийся вне моего тела. Все вернулись к игре. Кроме Цзиня. Он еще немного понаблюдав за мной — с загадочным, оценивающим выражением на лице.

Солнце скрылось за горизонтом. На землю упала тень. И вот мы понемногу начали расходиться, каждый отправлялся в своем направлении, к дому. Зарядил дождь. Но я не спешила. И снова ощутила на себе взгляд Цзиня. Вдумчивый, любопытный.

— Хочешь кое-что покажу? — спросил он.

— Ага.

Спускалась ночь, а я знала, что до темноты должна вернуться домой. Такое правило завели мои родители. Я иногда скандалила по этому поводу, но без особого пыла, потому что, если честно, мне и самой было неуютно на улицах в темноте. Но в тот момент что-то удержало меня на месте, не позволило сразу же уйти. Цзинь говорил мягко, но в голосе его чувствовалось какое-то озорство, глаза лукаво блестели — как будто я казалась ему немного смешной. Если я откажусь с ним пойти, он решит, что я трусиха. Что я боюсь. И будет

еще больше улыбаться. Если я просто уйду, я буду чувствовать этот лукаво-ироничный взгляд, устремленный мне в спину.

Так что я выпатила грудь и пошла с ним рядом. Дождь мягкими серыми струями падал на землю, над улицами поднимался пар — тусклая дымка, в которой очертания домов казались нечеткими, смутными. Тени разрастались, темнота обретала форму, не оставалось ничего, кроме шума дождя. Я чувствовала, как он стучит по ткани моих туфель, пробирается внутрь, проникает в носки, я чувствовала, что капли повисают на бровях и падают с кончика носа. Накатила усталость, как будто серая сырость засела и у меня в голове.

— Куда мы идем? Еще далеко?

— Не очень, — ответил Цзинь с тем же шепотком смутной улыбки на губах.

Я почувствовала укол раздражения. Начинали болеть ноги. Я уже хотела сказать Цзиню, что мне надоело, что есть дела поинтереснее. И тут он остановился.

— Пришли, — сказал он.

Я проследила за его взглядом. Большое многоэтажное здание. Бетонные стены скрывала тьма, но на каждом этаже были ряды полукруглых окон, изнутри исходило слабое бледно-оранжевое свечение. Крыша по крутой металлической дуге поднималась вверх, очень высоко, на ней переплетались трубы и провода. Даже оттуда, где мы стояли, слышно было негромкий гул внутри здания — в глубинах его работали какие-то механизмы. В темноте здание выглядело и обыкновенным, и чудовищным, но я понимала, что бояться нечего. Я уже поняла, где мы. Над зданием возвышалась труба, она гигантским пальцем торчала ввысь. Трубу я узнала, потому что по ночам видела ее из окна своей

спальни. Вот только сейчас ее четкий черный контур так высоко вдавался в темный свод неба, что я показалась себе совсем маленькой, меня замутило от собственной ничтожности; из трубы во тьму вылетали призрачные клубы пара.

Я взглянула на Цзиня. Он странно-серьезным взглядом смотрел на здание.

— Знаешь... что это за место? — спросил он так тихо, что я едва расслышала вопрос.

— Разумеется, — ответила я. — Пекинская детская больница.

Я попыталась произнести это презрительно. Но звук затих во мраке, его заглушила ночь.

Цзинь медленно повернулся ко мне лицом.

— Все так думают.

— В смысле?

Лицо его стало угрюмым.

— Мой отец — он работает в правительстве. И знает то, что знают очень немногие.

— Например? — спросила я сварливо.

— Например, что в этом здании действительно есть дети. Но они там не для того, чтобы поправиться. Они... никогда не поправятся.

Это он произнес едва ли не шепотом.

— То есть?

Меня помимо воли завораживал его мягкий и строгий голос. Я почувствовала, как волоски на затылке встали дыбом — жар дня испарялся, наползал ночной холод.

— То есть это здание... это не больница... это крематорий.

— Крема... Чего?

Он печально улынулся.

— Ты вообще ничего не знаешь, да?

— Достаточно я знаю, — огрызнулась я, приготовившись защищать свою честь.

— Тогда слушай, — сказал он. — В крематории детей не лечат. Там сжигают тела детей, которые уже умерли!

Я недоверчиво посмотрела на него.

— Врешь! — выпалила я. — Зачем это нужно? Да и кому?

Лицо Цзиня ничего не выражало. Он говорил без всякого выражения, сухо, но тоном человека, обремененного всеми тайнами мира.

— Потому что... так нужно, и всё.

— Я тебе не верю. Ты все выдумал.

Он посмотрел на меня. Не стал спорить. Ничего не сказал. Просто вглядывался в лицо все с той же странной серьезностью. Она выглядела совсем неуместно на детском лице — помню, что еще тогда об этом подумала. А главное, что вообще-то я ему поверила. Хотя и не хотела. Но поверила. Сердце пустилось вскачь, на бумажный панцирь тонкой и хрупкой кожи начал давить наэлектризованный страх. При этом меня не покидало чувство, что Цзинь пытается меня надуть. Я стала отбрыкиваться.

— Если это так, давай, докажи. Не можешь, да? Потому что ты просто дурацкий врунишка!

И снова мое оскорбление его не задело, он сохранил это свое невыносимое спокойствие.

— Докажу, — произнес он негромко.

Я ждала любого ответа, только не этого. Он меня потряс. А сквозь потрясение подступал страх.

— Давай, — произнесла я неуверенно.

Он закинул голову, посмотрел в темноту.

— Труба, дым!

— И что?

Он снова заговорил совсем тихо — делясь со мной зло-
вещей тайной.

— Каждый раз, когда сжигают мертвого ребенка, трубу
открывают, чтобы выпустить дым. Вот только...

— Ну?.. — спросила я, тоже запрокидывая голову, чув-
ствуя, как внутри всплеснулся липкий ужас.

— Вот только дух-то не умирает. Ты ведь это знаешь?

Я знала. Бабушка часто говорила о таких вещах. Я кивнула.

— Посмотри в дым, который поднимается вверх, и уви-
дишь...

— Увижу?

— Увидишь дух мертвого ребенка... или мертвого мла-
денца... который улетает в ночь.

Тело мое гудело от адреналина и страха. Тьма будто бы
поглотила все вокруг, стиснула, сплющила.

— Да ну. Врешь. Я тебе не верю.

— Ладно. Но ты... просто посмотри.

Мне не хотелось, но голова запрокинулась еще дальше,
будто под действием незримой силы. Я стала вглядываться
в призрачные струйки дыма, клубившегося в бескрайнем
куполе тьмы, и мне показалось, что серебристые нити не-
надолго сплетаются — дым обтекает тьму незрячих глаз,
пар очерчивает темный провал рта, застывшего в крике.
Я тут же моргнула, потому что телесное напряжение и гул
сердца достигли апогея, а потом дернулась в сторону —
глаза горели от жаркого страха и слез.

Я почувствовала, как Цзинь положил ладонь мне
на плечо. Вырвалась и сорвалась с места.

Звук шагов гулко отдавался в пустоте. Я свернула на одну улицу, другую. Остановилась, задышавшись. Мокрые волосы обвисли, от быстрого бега каждый вдох резкой болью отдавался в животе. Несколько секунд я пыталась отдышаться. На глазах вновь выступили слезы. Но теперь это были слезы унижения. Я позволила воображению взять над собой верх.

Потом мама истерически орала на меня — как мне показалось, несколько часов кряду, — и меня рано отправили спать. Я сидела у себя в темной комнате с угрюмой улыбкой на лице. Цзинь сумел меня напугать, рассказав какую-то сказочку для малышей, а я проглотила наживку, крючок и грузило. Пообещала себе с ним сквитаться — завтра продаю, как буду мстить, — вот только подо всеми этими мыслями билось глубинное и более примитивное беспокойство. Я лежала в постели, и мне казалось, что привычные предметы в спальне переменились. На фоне тьмы они казались эфемерными незнакомыми тенями — силуэт плюшевого медведя вдруг стал угловатым, зловещим, а из щели под платяным шкафом черным потоком хлынула тьма.

Я лежала в темноте, вслушиваясь в звук собственного дыхания, в негромкие толчки сердца в глубине. Из прошлого у меня сохранились обрывки воспоминаний, теперь они начали возвращаться. Смерть бабушки. Я тогда вряд ли была сильно старше, чем сейчас мой братишка Цяо. Проблемы памяти: запах горящих свечей, ощущение скученности в комнате, где полно людей, смутный очерк незнакомого лица, устремленный на меня взгляд. Я знаю, что все это обрывки дня бабушкиных похорон. Через много лет я выяснила, что родители хотели провести гражданскую панихиду, но бабушка воспротивилась.

Дедушку положили в открытый гроб в большой комнате нашей квартиры, как это принято на традиционных похоронах, чтобы он мог уйти к предкам. Заходили отдать дань уважения соседи, вечер перетекал в ночь. Шум, разговоры. Настрой, наверное, был довольно бодрым — в традиционных церемониях больше радости, чем горя, — но из сохранившихся у меня обрывочных воспоминаний это не следует.

Помню тихое пение. Помню, что мне страшно. Кажется, я цеплялась за свое одеяло, свое хорошенькое одеяльце, и от страха засовывала кончики его бахромы в рот. Помню, как вошла в комнату в тесной толпе, постепенно пробилась сквозь лес длинных ног к нужному месту — тому, где свет свечей собирался в сияющий круг в центре комнаты, озаряя насыщенную фактуру дерева. К месту, где находился дедушка. У меня возникло ощущение, что он там — это-то я знала — как знала, что, если двигаться дальше, я его обязательно увижу, вот только мне этого не хотелось. Внутри закипал страх, но я не могла прекратить движение, я двигалась с неотвратимостью сновидения, ближе и ближе, и вот...

И вот что? Помню, как ужас нарастал, мне даже стало трудно дышать. Помню, что оказалась совсем близко, увидела профиль, бледно-восковую кожу, форму носа — хотя теперь мне кажется, что эти подробности я добавила задним числом, чтобы заполнить пробелы. Точно ли я видела дедушку? Лежа в кровати несколько лет спустя, погружаясь в странную дымку собственного детства, я понимала, что не могу представить себе дедушкиного лица, ни живого, ни мертвого. Запомнилось только число: он скончался в возрасте семидесяти трех лет. Возраст, который тогда мне казался непредставимым, какие-то бесконечные годы,

которые горным пиком вздымались в туманные заоблачные выси.

Но ведь Цзинь говорил про детей. Про умерших детей. Которых сожгли, превратили в дым. Говорил даже о младенцах. У этих детей вообще нет никаких чисел. Я принялась крутить это в голове снова и снова. Не могла остановиться. Отчего они умерли? Что заставило их умереть? Сердце помчалось вскачь, хотя лежала я совсем тихо. А со мною может такое случиться? Вдруг я тоже возьму и умру? Я крепко зажмурилась, тут же надвинулась тьма. Может, то же самое чувствовал и дедушка?

Я снова открыла глаза. Посмотрела в другой конец комнаты. Цзинь у нас хитрый, он наверняка все это выдумал, сказала я себе. А я сдуру ему поверила. Тем не менее унять внутреннее беспокойство я не могла. Свесила ноги с кровати. Пол в комнате оказался холодным. Подкралась к окну, выглянула. Вдали можно было различить струйку дыма, змеившуюся из больничной трубы, призрачно-белую — она таяла в темноте. Я вернулась в постель, закуталась в одеяло. Потом заснула.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вот только утром то самое чувство никуда не делось. Я будто заболела. Пошла завтракать и поймала себя на том, что все смотрю на Цяо — он ел и хихикал. Ничего смешного в общем-то не происходило, но даже обычное занятие — поглощение пищи — вызывало у него улыбку, тем более что среди нас он был самым неопрятным едоком (с небольшим отрывом от бабушки). Он засовывал в рот липкий сладкий рис — пальцы блестели от меда — и восторженно улыбался, может, потому что мы — все мы — казались ему уморительными, а может, потому что во рту было сладко и тепло. Мама шлепала его, стараясь не попадать по кусочкам еды, которые постоянно ползли по его щекам и падали на грязный нагрудник, но от этого Цяо смеялся только громче, как будто весь этот спектакль устраивали исключительно ради его удовольствия.

«Мама... Цяо ням-ням», — сообщал он восторженно, и из рта фонтаном вылетали кусочки еды. Цяо поворачивался ко мне и улыбался, махал пухлыми пальчиками в мою сторону с видом счастливым и победоносным.

Я посмотрела ему в лицо, сиявшее радостью и свежестью, — и, хотя обычно брат раздражал меня своей шумливостью и назойливостью, сейчас меня пронзила

ошеломительная, опасливая любовь. Я посмотрела на его личико, на широкую и открытую детскую улыбку — невинность его выглядела одновременно и самозабвенной, и уязвимой. Слова Цзиня о мертвых детях казались мне бредом — он просто хотел вывести меня из себя, — но я вдруг поняла, что ведь и без него слышала о детских смертях. Девочку на класс младше сбила машина. Мальчик на класс старше заболел. Я не помнила их имен, а подробности болезни и обстоятельства аварии оставались неизвестными.

О случившемся, скорее всего, узнавала из вторых рук, а может, что-то упоминали на школьном собрании, вот только в подробности я не вдавалась. Происходившее сейчас казалось куда реальнее. Я посмотрела на брата — темные глаза блестят, пухлые щеки раздулись, потому что он набрал полный рот еды, — и у меня перехватило дыхание. А если кусок пищи застрянет у него во рту или, когда мама спустит его со стульчика — животик-то у него раздулся, — он оступится, ударится головой о косяк двери. Или, например...

В мозгу моем роились самые разные варианты того, как брат мой может уйти из этого мира, и мне внезапно показалось, что сегодняшний день он точно не переживет. Я инстинктивно потянулась к нему, ущипнула за носик, он моргнул и засмеялся, мне же пришлось глотать слезы. Больше никто не заметил внезапной перемены моего поведения (до того я чаще щипала брата за щеки, чтобы довести до слез). Но бабуля, видимо, уловила перемену, потому что я почувствовала на себе тьму ее взгляда — заинтересованного, с толикой загадочного лукавства.

Для меня же в сложившейся ситуации не было решительно ничего смешного. В то утро — мама вывела меня

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

Глава первая.....	11
Глава вторая.....	25
Глава третья.....	39
Глава четвертая.....	51
Глава пятая.....	66
Глава шестая.....	85

Часть II

Глава седьмая.....	93
Глава восьмая.....	109
Глава девятая.....	119
Глава десятая.....	131
Глава одиннадцатая.....	141
Глава двенадцатая.....	155
Глава тринадцатая.....	173
Глава четырнадцатая.....	180
Глава пятнадцатая.....	192
Глава шестнадцатая.....	206
Глава семнадцатая.....	215

Глава восемнадцатая	231
Глава девятнадцатая	242
Глава двадцатая	258
Глава двадцать первая	268
Глава двадцать вторая	279

Часть III

Глава двадцать третья	297
Глава двадцать четвертая	313
Глава двадцать пятая	326
Глава двадцать шестая	337
Глава двадцать седьмая	352
Глава двадцать восьмая	365
Глава двадцать девятая	382

Часть IV

Глава тридцатая	403
Глава тридцать первая	417
Глава тридцать вторая	429
Глава тридцать третья	444
Глава тридцать четвертая	456
Глава тридцать пятая	472
Глава тридцать шестая	483
Глава тридцать седьмая	493
Глава тридцать восьмая	513
Глава тридцать девятая	531
Эпилог	544
Благодарности	549